

Кондратьев В.

18/VI-86

Монолог о времени и о себе

Вячеслав Кондратьев

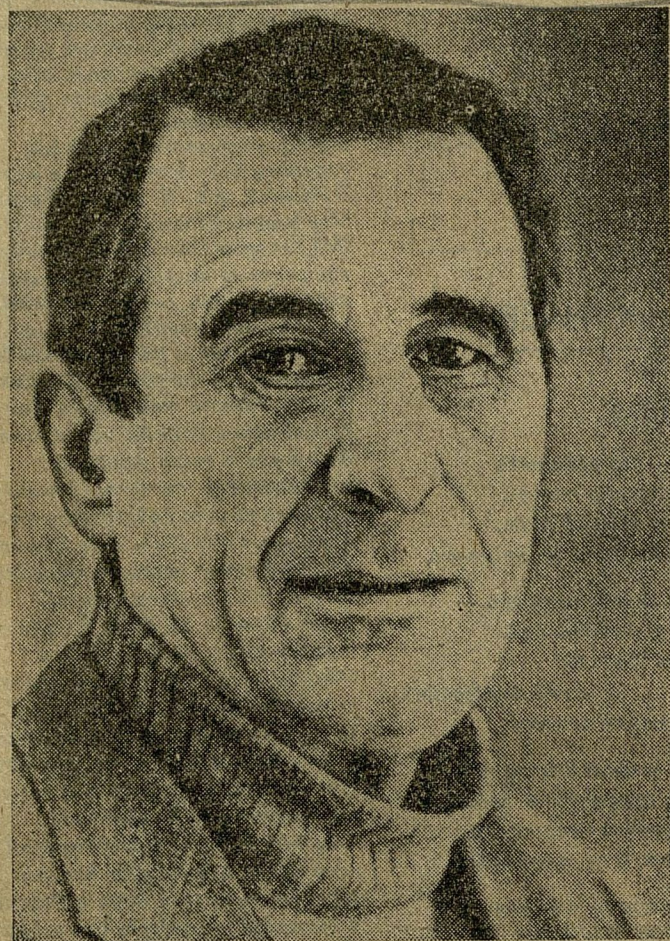


Фото А. КАРЗАНОВА

Вечное ржевское поле

ТРИ ДНЯ пробыл я в «своих» деревнях, в тех самых, поминаю которые без конца почти во всех своих произведениях с надеждой — вдруг откликнется кто?.. Но никто пока не откликнулся, кроме Михаила Помогаева, о котором писал в «Литгазете». Ездил я туда с телевизионной группой, снимали эти долгие, так по-настоящему и не восстановленные деревни — Усово, Черново, а других уж и нет. Может, теперь в телепередаче узнают эти места те, кому выпало бедовать здесь в 1941—1942 годах, и отзовутся... Я тут бывал не раз, но ранней весной впервые. Ровно через сорок четыре года, потому что как раз в марте прибыла наша 132-я Отдельная стрелковая бригада сюда. Тогда тоже было под снегом овсянниковское поле, поле боя, и разбросаны по нему серыми комочками убитые, а те, кто поближе к нашим позициям, — уже не серыми, а белыми комочками лежали, так как были раздеты до нижнего белья — не хватало одежды, приходилось... и было это пожалуй, самым страшным для меня.

Вот сейчас и померещились они мне на поле, и прижало сердце болью — все ли рассказал о них, всю ли поведал? Только одно это и может как-то жизнь оправдать, ведь счастливым случаем не полегать на этом поле вместе с ребятами... Ну, а раз не выветрилась, не ушла еще боль почти за полвека, значит, наверно, есть и будет о чем писать, потому что без подлинной боли нет и не может быть литературы. Вспомним, вся наша классическая литература и лучшие вещи советской прозы написаны болью. Потому что живы до сих пор, что не о пустяках писали, писали кровью сердца, ставя перед собой цели высокие и задачи благородные.

И не могу сейчас не упомянуть о том, с какой болью написал Виктором Астафьевым его «Печальный детектив».

Гражданской болью насыщены произведения Ф. Абрамова, А. Адамовича, В. Белова, В. Быкова, С. Залыгина, Б. Можая и еще многих... Сказал «многих», а многих ли? Так ли у нас много литературы, именно на боли замешанной? Ведь тот серый поток, о котором говорят на каждом совещании, сер не потому, что уж очень плохо профессионально написаны произведения. Нет, в некоторых вещах этого ряда заметно и умение, даже порой некое мастерство, но вот боли-то не видно. Наоборот, другое стремление наблюдается — уйти от всего сложного и трудного, что есть в нашей жизни, от насущных вопросов действительности. Поэтому-то и получается: прочтешь, а на другой день и не вспомнишь, о чем читал. Равнодушна серая литература, вот в чем ее главная беда, мимо жизни идет она, мимо... И, кстати, разговоры о том, что неизбежно это, что всегда так было, чем увлекают нас критики, — будто и в XIX веке существовал тоже серый поток, — неверны по своей сути. Да, были в прошлом веке восторженные писатели, но и они ведь не о пустяках писали, боль какая-то чувствовалась, желание отразить время честно и правдиво присутствовало. Уровень художественный не дотягивал, правда, до гигантов, но гражданских чувств хватало. А в современном сером потоке этого-то как раз и не хватает — высоких гражданских чувств. Но не очень-то поднимается у меня рука метать громы и молнии в адрес авторов таких облегченных произведений, потому как не секрет — об этом писалось и говорилось предостаточно: вещи острые, поднимающие серьезные вопросы жизни нашего общества, пробиваются с огромным трудом. Порой годами тянутся мытарства таких книг, не всякий писатель способен это выдерживать.

В свое время я говорил о судьбе талантливого и сильного романа «По старой Смоленской дороге» В. Сальковского, писателя из Смоленской области. (Роман в прошлом году опубликован в журнале «Наш современник», а до этого долгие годы пролежал в издательстве «Советский писатель», скоро он, наконец, выйдет и там.) А теперь вот узнал о «хождениях по мукам» еще одного автора — Г. Шурмака и его романа «Нас время учило», написанного в 1965 году и до сих пор не опубликованного, о котором В. Росляков в мае 1982 года написал: «С романом Григория Шурмака наша литература о войне может стать богаче, получит новые краски, новые оттенки». Зная В. Рослякова и доверяя его мнению, я тоже решил прочесть роман и могу сказать, что это талантливое, честное произведение о судьбах военного поколения, и я не вижу никаких причин, могущих задерживать его публикацию, кроме одной — робости и перестраховки издательских работников, которые почему-то всегда знают лучше автора, о чем «можно», а о чем «нельзя» писать. И все эти редакторские «можно» и «нельзя» задерживают развитие нашей литературы, не дают ей выйти на те высоты, на которые она, безусловно, в состоянии выйти, да и должна выйти, продолжая традиции русской классической литературы. Тут я говорю не о рядовом редакторе, а о системе прохождения рукописей, при которой энное количество лиц высказывает свое мнение. Причем, бывает, мнения эти совершенно разные, даже противоположные друг другу: рецензент говорит одно, редактор — другое, зазпрош — третье, и так далее по инстанции, все дают «ценные указания», а автор обязан их принять, что-то и где-то смягчить, что-то убавить, боль свою несколько размазать, потому как практически выходит, что он за свое произведение не отвечает, а отвечает за него, как за несмышленого младенца, все эти вышепоименованные лица. Странный «порядок» установился. И скажу прямо, унижительный для писателя, который, казалось бы, должен быть лицом ответственным и не подвергаться мелочной опеке, а отвечать сам за свою работу, как отвечает любой рабочий человек за свою продукцию. Стоит только представить, что у станка рабочего стоят еще пять или шесть человек, постоянно дающих этому рабочему всевозможные указания, как станет явной нелепица, происходящая в нашем писательском цехе.

НЕТ, Я СОВСЕМ не против редакторов, она необходима каждому писателю — умная, доброжелательная, даже до толстая, но редактора художественная, помогающая автору увидеть какие-то неточности, промахи, небрежности, способствующая тому, чтобы яснее и выразительнее выжить главную мысль. К сожалению, чаще иное — стремление сгладить острые углы и правду жизни ввести в знакомое и шаблонное русло. Много об этом говорено, что-то вроде стронулось с места, чему свидетельством появление распутинского «Пожара» и астафьевского «Печального детектива», но решительного сдвига, по моему, пока не ощущается. Еще много сил напрасно уходит у писателя на сопротивление чересчур осторожному, перестраховочному редакторскому карандашу. И больно же, когда по живому начинают «резать», когда наспех приходится склеивать разорванные куски, — это всегда во вред художественности. Так вырывали у меня в повести «Встречи на Сретенье» целую главу похорон недавнего фронтовика, покончившего самоубийством, сочтя сие неэтичным, и из-за этого оказалась совершенно непонятной следующая сцена, в которой мать моего героя, Володьки-лейтенанта, узнав о случившемся, просит сына выкинуть привезенный с фронта пистолет.

И еще — нельзя настоящую художественную литературу «приспосабливать» к злобе дня. Вот боремся мы сейчас с алкоголизмом — давно пора! — и готовы уже ретивые редакторы убирать из произведений об Отечественной войне «наркомовские» сто граммов, словно не было их в помине. А были же! Другое дело, что не надо умиляться по этому поводу, а надо рассказать, что иногда пьяная лихость некоторых командиров приносила и беды, о чем, кстати, почти не написано в нашей военной прозе и тоже, наверно, по причинам перестраховки.

А были и такие случаи, что греха таить. То злополучное Овсянниково, которое мы безуспешно брали в течение двух месяцев, оказывается, взяла до нас одна стрелковая дивизия, но навалились ребята на трофейный шнапс, проспали ночную немецкую контратаку и были выбиты из этой деревни, потеряв на обратном пути больше людей, чем при наступлении.

И в послевоенное время питейных заведений хватало, на каждом шагу стояли палаточки «Пиво—воды», и встречи фронтовиков не под кефир происходили, да и вообще пить стали многовато — и горе тут, и радость, все вместе: война же окончилась... И надо сказать откровенно, трагически отразилось на судьбах некоторых фронтовиков это изобилие и доступность спиртного. Но обойти это нельзя, если правдиво описывать это время, из песни, как говорится, слово не выкинешь, да и не нужно, так как подрываем мы этим веру читателя в литературу. А она — вера-то — и так на убыль идет из-за ухода литературы от сложности и трудностей жизни, из-за приукрашивания ее, из-за замалчивания того нелепого, что было в нашей действительности. Да и наивно очень, мягко выражаясь, представление, что ежели прочтет читатель о выпивке литературных персонажей, так сразу в «шалман» и побежит, из трезвенника в пьяницу превратится.

Все это рудименты недавнего прошлого, избавляться надо от них. Без смелости и гражданской ответственности издательских работников всех рангов невозможно и появление в печати произведений острых, правдивых. Не опубликуй, к примеру, журнал «Новый мир» повесть С. Есенина «Имитатор» — не было бы в художественной форме всенародно вскрыто опасное и довольно-таки типичное явление безудержного карьеризма в среде людей искусства, появление так называемых «мнимых величин», которые здравствуют не только в живописи, но и в литературе, и в науке. А это отнюдь не безобидное социальное явление. Подобные «имитаторы» легко могут закрыть дорогу всякому таланту, они дискредитируют само звание художника, призванного «сеять разумное, доброе, вечное»...

Тут бы и помянуть критику, попустительствующую этому явлению, не дающую соответствующую оповестку «имитаторам» всех мастей, но... стоит ли валить все на многожды битую и перебитую критику? Ведь одними ее руками «имитатор» не взят. Какая газета или журнал решилась опубликовать серьезную критическую статью о творчестве хоть одного такого деятеля? Пока так будет, «голые короли» будут процветать во всех областях нашей жизни.

Безусловно, у каждого, даже очень талантливого писателя могут появляться вещи слабые, никто из гарантирован от творческих неудач, подчас провалов, но, думаю, мне, если критика прямо скажет об этом, негоже автору «вставать на дыбы», бежать с жалобами в вышестоящие инстанции. А такое, увы, случается. Я спросил одного режиссера: все ли удалось ему в только что сделанном фильме? Он надолго, очень надолго задумался, а потом, тряну головой, сказал, что, на его взгляд, удалось абсолютно все. Я пожал плечами. Считаю, что более высокую планку он уже вряд ли возьмет, поскольку у него отсутствует критический взгляд на свою работу.

Да, к сожалению, не всегда мы сами можем совершенно беспристрастно оценить свою работу. Я вот какие-то недостатки у себя вижу, но, наверно, есть и такие, какие не замечаю, и критика должна мне помочь их увидеть. Я поздно пришел в литературу, мне нужно успеть реализовать свои жизненные запасы, потому приходится спешить, а это, несомненно, сказывается на моем письме. Очень хочется, чтоб критика сказала мне со всей серьезностью о тех или иных просчетах, недорелках, тем более что я не отношусь к «неприкасаемым», меня критиковать можно.

БОЛЬШЕ впечатление произвела на меня статья Е. Евтушенко «Личное мнение» в «Советской культуре». Об очень важном пишет Евтушенко, о давно наблевшем. В частности, пишет он в конце статьи о том, что «мы уже научились открыто говорить о многих современных острых проблемах, хотя и не обо всех. Но гласность по отношению к настоящему сейчас превосходит на-

шу гласность по отношению к прошлому. Чтобы смело решать сегодняшние проблемы, нельзя быть робкими по отношению к собственной истории, внутри которой скрываются корни и сегодняшних проблем». Совершенно справедливо. Без знания прошлого трудно разбираться в настоящем, невозможно представить и будущее — это истина, не требующая доказательств.

Не в тех ли сороковых, послевоенных, когда народ, выдержавший невероятную по тяжести войну, потерявший более двадцати миллионов, назвали «винтиками», зародилось небрежение простым человеком, неверие в его силы, в его сознательность?

Я не берусь утверждать, что только это привело нас к тому, о чем откровенно говорилось на XXVII съезде партии, но думаю, что одной из причин гражданской пассивности явилось именно небрежение народным мнением, что нанесло урон нравственному самосознанию народа, урон, восполнить который куда трудней, чем экономический. Гласность, возможность высказаться на страницах печати рядовому труженику и открыто критиковать неполадки — что сейчас и делается — несомненно поднимет гражданские чувства в каждом человеке и он перестанет ощущать себя «винтиком» и еще глубже поймет, что судьба Отчизны, как и в дни войны, так и сейчас, находится в его собственных руках.

И теперь вот захотелось вернуться к Ржеву, потому как на развалинах деревни Черново, где догнивает сейчас одна последняя изба, а в сорок втором располагался штаб батальона и вблизи этой избы был как раз блиндаж нашего комбата, вспомнился мне один случай. Он вроде бы отношения не имеет к сказанному, но все же... Дня через два после захлебнувшегося нашего наступления на Овсянниково вызвали меня по какому-то делу в штаб, и встретился мне по пути комиссар наш, батальонный комиссар по званию, две шпалы в петлицах, ну, а у меня, сержанта, два треугольника — разница в званиях преогромная, ну и в возрасте тоже — мне двадцать один, а комиссару под сорок. Что общего вроде? Одно только — москвичи оба, что выяснилось, когда Москву проезжали, по окружной крутили. Приветствовал я комиссара как следует, ножку дал, кадровый же унтер, умею. Посмотрел на меня комиссар, на растерзанную мою телогрейку, на почерневшее лицо, покачал головой и пригласил присесть на завалинку покурить. Угостил легоньким табачком, скрутили мы цигарки, задымили, и задал вдруг комиссар вопрос. Для меня неожиданный, даже странный: как я думаю: почему наступление наше захлебнулось? Ну, раз спросил, я по всей правде-матке и начал резать, что плохо, мол, было организовано наступление, непродуманно, вроде как на авось... Высказал даже свои соображения — надо было бы вот так, раз отгневой поддержки не ожидалось. Комиссар выслушал вымательно, не перебивая... Армия! Фронт! И такая вот демократичность, дозволенность им. И потому, видимо, что видел он во мне не просто младшего по чину и возрасту подчиненного, но равноправного участника общего дела, разделяющего вместе с ним и боль, и ответственность за происходящее...

Всплыл этот разговор в памяти, и подумалось: а сейчас, через много лет, в мирное время возможен ли такой разговор, скажем, между директором завода и рядовым рабочим — чтоб директор интересовался мнением этого рабочего: почему завод завалил план? Трудно что-то представить. И чтоб не в кабинете с цветным телевизором и баром, в котором до недавнего времени коньком водился, а где-нибудь на заводской территории. Не слишком ли мы «далеко» шагнули от тех огненных лет, когда всем — от маршала до среднего командира — было ясно, что без сознательного, смышленного, чувствующего свою личную ответственность за все солдата войну не выиграть, не победить в ней? Вот когда простой человек был на соответствующей ему высоте. И ощущая, понимая это, делал все мысленно и немислленно, чтоб на этой высоте остаться, вот где «человеческий фактор» играл свою высокую роль.

И нужно сейчас, чтоб и литература наша обратилась к простому по званию, но совсем не простому по внутреннему содержанию человеку. Не слишком ли много в нашей литературе отдаются сегодня места знаменитым и незнаменитым художникам, писателям, режиссерам, руководителям всех рангов? Мы словно бы забыли, что с пушкинских «Повестей Белкина» начался интерес нашей классики к обыкновенному, без особых чинов и званий человеку, что из гоголевской «Шинели» вышла русская литература.

У ЛИТЕРАТУРЫ нашей есть великая нравственная задача — отразить время во всей его сложности и противоречивости, так же полно, правдиво, достоверно, как сделала это литература прошлого века. Смогут ли в XXI веке судить по литературе о нашем столетии?

Писатели военного поколения еще живы покамест, хотя потери большие. Мы не забудем войну, помним довоенные и послевоенные годы, и наша святая обязанность рассказать о своем времени подлинную правду. И если о войне сказано достаточно много, хотя и не все, то о предвоенных и послевоенных десятилетиях — очень мало. И здесь не должно быть тем «запретных», историю своей страны народ должен знать всю — и радостные ее страницы, и горькие. Мы должны оставить после себя правдивую, без умолчанй летопись своего времени, иначе не выполним не только писательский, но и нравственный долг. Это большая, серьезная и очень ответственная задача для нас, и хочется надеяться, что в ходе ее осуществления не будет анахроничных для сегодняшнего момента и перестраховочных рогаков, мешающих литературе выйти на новый, достойный ее уровень.

Вот написал я сейчас роман, впервые роман. Долго колебался, опасаясь, получилось ли с новым жанром, выткну ли? Получился ли он, не мне судить, скажу лишь, что роман этот о послевоенном времени, начинаю я его с денежной реформы и отмены карточек в конце 47-го года и продолжаю до лета 48-го. Временной отрезок небольшой, но год этот сложный, нелегкий. Если моим героям, и стало материально легче, как всем после отмены карточек, — ушел уже голод и жизнь стала налаживаться, продуктов в магазинах было много, деньги, правда, не хватало — то встали перед ними проблемы другого рода, без решения которых трудно обрести свое место в жизни. Решить эти проблемы в ту пору им было не под силу, идет лишь поиск этих решений, а потому назвал я для себя этот роман романом внутреннего состояния героев. Он мучительно продирался к пониманию времени, но дойти до конца не мог.

Повторяю, не знаю, получилось ли, но старался я правдиво отразить эти годы, не умалчивая ни о чем. В романе много действующих лиц из разных слоев общества — и рабочая семья, и старая интеллигенция, и крестьянская девушка, бывшая разведчица, и студенты, вчерашние фронтовики моего поколения, и фронтовики поколения более старшего, и у каждого своя, довольно крутая судьба.

Заключить хочу опять Ржевом, потому как поездка эта, кроме тяжелых воспоминаний, нанесла и неожиданный удар: узнал я то, о чем не могу не сказать на страницах «Литературной газеты», хотя коротко написал об этом в «Московском литераторе», да и буду писать еще непременно. Дело в том, что в нескольких километрах выше Ржева етронится гидроузел и образуется Ржевское море, водами его будут навсегда покрыты сотни братских могил и десятки деревьев, за которые велись страшные, кровопролитные бои в 1941—1942 годах. И уж не приехать ветеранам и родственникам погибших на братские могилы, не поклониться праху товарищей и родных. Будет «море забвения», как написал читатель Ю. Соловьев в письме своем Елене Ржевской. Совершается кощунственное, богопротивное, как в старину говорили, дело, и наш общий гражданский долг постараться сделать так, чтоб оно было остановлено. Надеюсь, что поддержат меня ветераны, участники боев за Ржев, да и весь наш народ, потому что никак это несовместимо с нашими выстраданными словами «Никто не забыт и ничто не забыто».

Кондратьев Вяз

18/II-86

Многое о времени и о себе

Лит. газета - 1986 - 18 февр. - с. 8 (икона)

Вячеслав Кондратьев



Фото А. НАРЗАНОВА

Вечное ржевское поле

ТРИ ДНЯ пробыл я в «своих» деревнях, в тех самых, поминую которые без конца почти во всех своих произведениях с надеждой — вдруг откликнется кто?... Но никто пока не откликнулся, кроме Михаила Помогаева, о котором писал в «Литгазете». Ездил я туда с телевизионной группой, снимали эти долетавшие, так по-настоящему и не восстановленные деревни — Усово, Черново, а других уж и нет. Может, теперь в телепередаче узнают эти места те, кому выпало бедовать здесь в 1941—1942 годах, и отзовутся... Я тут бывал не раз, но ранней весной впервые. Ровно через сорок четыре года, потому что как раз в марте прибыла наша 132-я Отдельная стрелковая бригада сюда. Тогда тоже было под снегом овсянниковое поле, поле боя, и разбросаны по нему серыми комочками убитые, а те, кто поближе к нашим позициям, — уже не серыми, а белыми комочками лежали, так как были раздеты до нижнего белья — не хватало одежды, приходилось... и было это пожалуй, самым страшным для меня.

Вот сейчас и помечтались они мне на поле, и пришло сердце больно — все ли рассказал о них, всю ли правду? Только одно это и может как-то жизнь оправдать, ведь счастливым случаем не полег я на этом поле вместе с ребятами... Ну, а раз не выветрилась, не ушла еще боль почти за полвека, значит, наверно, есть и будет о чем писать, потому что без подлинной боли нет и не может быть литературы. Вспомним, вся наша классическая литература и лучшие вещи советской прозы — это боль. Потому что живы до сих пор, что не о пустяках писали, писали кровью сердца, ставя перед собой цели высокие и задачи благородные.

И не могу сейчас не упомянуть о том, с какой болью написал Виктор Астафьев его «Печальный детектив».

Гражданской болью насыщены произведения Ф. Абрамова, А. Адамовича, В. Белова, В. Быкова, С. Залыгина, Б. Можая и еще многих... Сказал «много», а много ли? Так ли у нас много литературы, именно на боли замешенной? Ведь тот серый поток, о котором говорят на каждом совещании, сер не потому, что уж очень плохо профессионально написаны произведения. Нет, в некоторых вещах этого ряда заметно и умение, даже порой некое мастерство, но вот боли-то не видно. Наоборот, другое стремление наблюдается — уйти от всего сложного и трудного, что есть в нашей жизни, от насущных вопросов действительности. Поэтому-то и получается: прочтешь, а на другой день и не вспомнишь, о чем читал. Равнодушна серая литература, вот в чем ее главная беда, мимо жизни идет она, мимо... И, кстати, разговоры о том, что неизбежно это, что всегда так было, чем успокаивают нас критики, — будто и в XIX веке существовал тоже серый поток, — неверны по своей сути. Да, были в прошлом веке второстепенные писатели, но и они ведь не о пустяках писали, боль какая-то чувствовалась, желание отразить время честно и правдиво присутствовало. Уровень художественный не достигал, правда, до гигантов, но гражданских чувств хватало. А в современном сером потоке этого-то как раз и не хватает — высоких гражданских чувств. Но не очень-то поднимается у меня рука метать громы и молнии в адрес авторов таких облегченных произведений, потому как не секрет — об этом писалось и говорилось предостаточно: вещи острые, поднимающие серьезные вопросы жизни нашего общества, пробиваются с огромным трудом. Покой годами тянутся мытарства таких книг, не всякий писатель способен это выдерживать.

В свое время я говорил о судьбе талантливого и сильного романа «По старой Смоленской дороге» В. Сальковского, писателя из Смоленской области. (Роман в прошлом году опубликован в журнале «Наш современник», а до этого долгие годы пролежал в издательстве «Советский писатель», скоро он, наконец, выйдет и там.) А теперь вот узнал о «хождениях по мукам» еще одного автора — Г. Шурмака и его романа «Нас время учило», написанного в 1965 году и до сих пор не опубликованного, о котором В. Росляков в мае 1982 года написал: «С романом Григория Шурмака наша литература о войне может стать богаче, получит новые краски, новые оттенки». Зная В. Рослякова и доверяя его мнению, я тоже решил прочесть роман и могу сказать, что это талантливое, честное произведение о судьбах военного поколения, и я не вижу никаких причин, могущих задерживать его публикацию, кроме одной — робости и перестраховки издательских работников, которые почему-то всегда знают лучше автора, о чем «можно», а о чем «нельзя» писать. И все эти редакторские «можно» и «нельзя» задерживают развитие нашей литературы, не дают ей выйти на те высоты, на которые она, безусловно, в состоянии выйти, да и должна выйти, продолжая традиции русской классической литературы. Тут я говорю не о рядовом редакторе, а о системе прохождения рукописей, при которой зное количество лиц высказывает свое мнение. Причем, бывает, мнения эти совершенно разные, даже противоположные друг другу: рецензент говорит одно, редактор — другое, зазпрозой — третье, и так далее по инстанциям, все дают «ценные указания», а автор обязан их принять, что-то и где-то смягчить, что-то убавить, боль свою несколько размазать, потому как практически выходит, что он за свое произведение не отвечает, а отвечают за него, как за несмышленого младенца, все эти вышепоименованные лица. Странный «порядок» установился. И скажу прямо, униженный для писателя, который, казалось бы, должен быть лицом ответственным и не подвергаться мелочной опеке, а отвечать сам за свою работу, как отвечает любой рабочий человек за свою продукцию. Стоит только представить, что у станка рабочего стоят еще пять или шесть человек, постоянно дающих этому рабочему всевозможные указания, как станет явной нелепость, происходящая в нашем писательском цехе.

НЕТ, Я СОВСЕМ не против редактуры, она необходима каждому писателю — умная, доброжелательная, даже доходящая, но редактура художественная, помогающая автору увидеть какие-то неточности, промахи, небрежности, способствующая тому, чтобы яснее и выразительнее выявить главную мысль. К сожалению, чаще иное — стремление сгладить острые углы и правду жизни ввести в знакомое и шаблонное русло. Много об этом говорено, что-то вроде стронулось с места, чему свидетельством появление распутинского «Пожара» и астафьевского «Печального детектива», но решительного сдвига, по моему, пока не ощущается. Еще много сил понапрасну уходит у писателя на сопротивление чересчур осторожному, перестраховочному редакторскому карандашу. И только же, когда по живому начинают «резать», когда насхеп приходится склеивать разорванные куски, — это всегда во вред художественности. Так вырвали у меня в повести «Встречи на Сретенке» целую главу похорон недавнего фронтовика, покончившего самоубийством, сочтя сие нетипичным, и из-за этого оказалась совершенно непонятной следующая сцена, в которой мать моего героя, Володьки лейтенанта, узнав о случившемся, просит сына выкинуть привезенный с фронта пистолет.

И еще — нельзя настоящую художественную литературу «приспосабливать» к злобе дня. Вот боремся мы сейчас с алкоголизмом — давно пора! — и готовы уже ретивые редакторы убирать из произведений об Отечественной войне «наркомовские» сто граммов, словно не было их в помине. А были же! Другое дело, что не надо умиляться по этому поводу, а надо рассказывать, что иногда пьяная лихость некоторых командиров приносила и беды, о чем, кстати, почти не написано в нашей военной прозе и тоже, наверно, по причинам перестраховки.

А были и такие случаи, что греха таить. То злополучное Овсянниково, которое мы безуспешно брали в течение двух месяцев, оказывается, взяла до нас одна стрелковая дивизия, но навалились ребятки на трофейный шнапс, проспали ночную немецкую контратаку и были выбиты из этой деревни, потеряв на обратном пути больше людей, чем при наступлении.

И в послевоенное время питейных заведений хватало, на каждом шагу стояли палаточки «Пиво—воды», и встречи фронтовиков не под кефир происходили, да и вообще пить стали многовато — и горе тут, и радость, все вместе: война же окончилась... И надо сказать откровенно, трагически отразилось на судьбах некоторых фронтовиков это изобилие и доступность спиртного. Но обойти это нельзя, если правдиво описывать это время, из песни, как говорится, слово не выкинешь, да и не нужно, так как подрываем мы этим веру читателя в литературу. А она — вера-то — и так на убыль идет из-за ухода литературы от сложностей и трудностей жизни, из-за приукрашивания ее, из-за замалчивания того нелегкого, что было в нашей действительности. Да и наивно очень, мягко выражаясь, представление, что ежели прочтет читатель о выпивке литературных персонажей, так сразу в «шалман» и побегит, из трезвенника в пьяницу превратится.

Все это рудименты недавнего прошлого, избавляться надо от них. Без смелости и гражданской ответственности издательских работников всех рангов невозможно и появление в печати произведений острых, правдивых. Не опубликуй, к примеру, журнал «Новый мир» повесть С. Есина «Имитатор» — не было бы в художественной форме всенародно вскрытого опасного и довольно-таки типичного явления безудержного карьеризма в среде людей искусства, появление так называемых «мнимых величин», которые здравствуют не только в живописи, но и в литературе, и в науке. А это отнюдь не безобидное социальное явление. Подобные «имитаторы» легко могут закрыть дорогу всякому таланту, они дискредитируют само звание художника, призванного «сеять разумное, доброе, вечное»...

Тут бы и помянуть критику, попустительствующую этому явлению, не дающую соответствующую отповедь «имитаторам» всех мастей, но... стоит ли валить все на многоразов битую и перебитую критику? Ведь одними ее руками «имитатора» не взять. Какая газета или журнал решилась опубликовать серьезную критическую статью о творчестве хоть одного такого деятеля? Пока так будет, «голые короли» будут процветать во всех областях нашей жизни.

Безусловно, у каждого, даже очень талантливого писателя могут появляться вещи слабые, никто не гарантирован от творческих неудач, подчас провалов, но, думаю, мне, если критика прямо скажет об этом, негоже автору «вставать на дыбы», бежать с жалобами в вышестоящие инстанции. А такое, увы, случается. Я спросил одного режиссера: все ли удалось ему в только что сделанном фильме? Он надолго, очень надолго задумался, а потом, тряхнув головой, сказал, что, на его взгляд, удалось абсолютно все. Я пожал плечами. Считаю, что более высокую планку он уже вряд ли возьмет, поскольку у него отсутствует критический взгляд на свою работу.

Да, к сожалению, не всегда мы сами можем совершенно беспристрастно оценить свою работу. Я вот какие-то недостатки у себя вижу, но, наверно, есть и такие, какие не замечу, и критика должна мне помочь их увидеть. Я поздно пришел в литературу, мне нужно успеть реализовать свои жизненные запасы, потому приходится спешить, а это, несомненно, сказывается на моем письме. Очень хочется, чтоб критика сказала мне со всей серьезностью о тех или иных просчетах, недорелках, тем более что я не отношусь к «неприкасаемым», меня критиковать можно.

БОЛЬШОЕ впечатление произвела на меня статья Е. Евтушенко «Личное мнение» в «Советской культуре». Об очень важном пишет Евтушенко, о давно наболевшем. В частности, пишет он в конце статьи о том, что «мы уже научились открыто говорить о многих сегодняшних острейших проблемах, хотя и не обо всех. Но гласность по отношению к настоящему сейчас превосходит на-

шу гласность по отношению к прошлому. Чтобы смело решать сегодняшние проблемы, нельзя быть робкими по отношению к собственной истории, внутри которой скрываются корни и сегодняшних проблем». Совершенно справедливо. Без знания прошлого трудно разобраться в настоящем, невозможно представить и будущее — это истина, не требующая доказательств.

Не в тех ли, сороковых, послевоенных, когда народ, выдержавший невероятную по тяжести войну, потерявший более двадцати миллионов, назвали «винтиками», зародилось небрежение простым человеком, неверие в его силы, в его сознательность?

Я не берусь утверждать, что только это привело нас к тому, о чем откровенно говорилось на XXVII съезде партии, но думаю, что одной из причин гражданской пассивности явилось именно небрежение народным мнением, что нанесло урон нравственному самосознанию народа, урон, восполнить который куда трудней, чем экономический. Гласность, возможность высказаться на страницах печати рядовому труженику и открыто критиковать неполадки — что сейчас и делается — несомненно поднимет гражданские чувства в каждом человеке и он перестанет ощущать себя «винтиком» и еще глубже поймет, что судьба Отчизны, как и в дни войны, так и сейчас, находится в его собственных руках.

И теперь вот захотелось вернуться к Ржеву, потому как на развалинах деревни Черново, где догнали сейчас одна последняя изба, а в сорок втором располагался штаб батальона и вблизи этой избы был как раз блиндаж нашего комбата, вспомнил мне один случай. Он вроде бы отношения не имеет к сказанному, но все же... Дня через два после захлебнувшегося нашего наступления на Овсянниково вызвали меня по какому-то делу в штаб, и встретился мне по пути комиссар наш, батальонный комиссар по званию, две шпалы в петлицах, ну, а у меня, сержанта, два треугольника — разница в званиях преогромная, ну и в возрасте тоже — мне двадцать один, а комиссару под сорок. Что общего вроде? Одно только — москвичи оба, что выяснилось, когда Москву проезжали, по окружной крутили. Приветствовал я комиссара как следует, ножку дал, кадровый же унтер, умею. Посмотрел на меня комиссар, на растерзанную мою телогрейку, на почерневшее лицо, покачал головой и пригласил присесть на завалинку покурить. Угостил легоньким табачком, скрутили мы сигарки, задымили, и задал вдруг комиссар вопрос, для меня неожиданный, даже странный: как я думаю: почему наступление наше захлебнулось? Ну, раз спросил, я по всей правде-матке и начал резать, что плохо, мол, было организовано наступление, не продуманно, вроде как на авось... Высказал даже свои соображения — надо было бы вот так, раз огневой поддержки не ожидалось. Комиссар выслушал внимательно, не перебивая... Армия! Фронт! И такая вот демократичность, дозволенная им: и потому, видимо, что видел он во мне не просто младшего по чину и возрасту подчиненного, но равноправного участника общего дела, разделяющего вместе с ним и боль, и ответственность за происходящее...

Вспыл этот разговор в памяти, и подумалось: а сейчас, через много лет, в мирное время возможен ли такой разговор, скажем, между директором завода и рядовым рабочим — чтоб директор интересовался мнением этого рабочего: почему завод завалил план? Трудно что-то представить. И чтоб не в кабинете с цветным телевизором и баром, в котором до недавнего времени коньячок водился, а где-нибудь на заводской территории. Не слишком ли мы «далеко» шагнули от тех огненных лет, когда всем — от маршала до среднего командира — было ясно, что без сознательного, мысленного, чувственного свою личную ответственность за все солдата войну не выиграть, не победить в ней? Вот когда простой человек был на соответствующей ему высоте. И ощущая, понимая это, делал все мыслимое и немислимое, чтоб на этой высоте остаться, вот где «человеческий фактор» играл свою высокую роль.

И нужно сейчас, чтоб и литература наша обратилась к простому по званию, но совсем не простому по внутреннему содержанию человеку. Не слишком ли много в нашей литературе отдается сегодня места знаменитым и незнаменитым художникам, писателям, режиссерам, руководителям всех рангов? Мы словно бы забыли, что с пушкинских «Повестей Белкина» начался интерес нашей классики к обыкновенному, без особых чинов и званий человеку, что из гоголевской «Шинели» вышла русская литература.

У ЛИТЕРАТУРЫ нашей есть великая нравственная задача — отразить время во всей его сложности и противоречивости, так же полно, правдиво, достоверно, как сделала это литература прошлого века. Смогут ли в XXI веке судить по литературе о нашем столетии?

Писатели военного поколения еще живы покамест, хотя потери большие. Мы не забудем войну, помним довоенные и послевоенные годы, и наша святая обязанность рассказать о своем времени подлинную правду. И если о войне сказано достаточно много, хотя и не все, то о предвоенных и послевоенных десятилетиях — очень мало. И здесь не должно быть тем «запретных», историю своей страны народ должен знать всю — и радостные ее страницы, и горькие. Мы должны оставить после себя правдивую, без умолчаный летопись своего времени, иначе не выполним мы только писательский, но и нравственный долг. Это большая, серьезная и очень ответственная задача для нас, и хочется надеяться, что в ходе ее осуществления не будет анахроничных для сегодняшнего момента и перестраховочных рогадок, мешающих литературе выйти на новый, достойный ее уровень.

Вот написал я сейчас роман, впервые роман. Долго колебался, опасаясь, справлюсь ли с новым жанром, вытяну ли? По-лучился ли он, не мне судить, скажу лишь, что роман этот о послевоенном времени, начинаю я его с денежной реформы и отмены карточек в конце 47-го года и продолжаю до лета 48-го. Временной отрезок небольшой, но год этот сложный, нелегкий. Если моим героям и стало материально легче, как всем после отмены карточек, — ушел уже голод и жизнь стала налаживаться, продуктов в магазинах было много, деньги, правда, не хватало — то встали перед ними проблемы другого рода, без решения которых трудно обрести свое место в жизни. Решить эти проблемы в ту пору им было не под силу, идет лишь поиск этих решений, а потому назвал я для себя этот роман романом внутреннего состояния героев. Они мучительно продираться к пониманию времени, но дойти до конца не могут.

Повторяю, не знаю, получилось ли, но старался я правдиво отразить эти годы, не умалчивая ни о чем. В романе много действующих лиц из разных слоев общества — и рабочая семья, и старая интеллигенция, и крестьянская девушка, бывшая разведчица, и студенты, вчерашние фронтовики моего поколения, и фронтовики поколения более старшего, и у каждого своя, довольно крутая судьба.

ЗаклЮчить хочу опять Ржевом, потому как поездка эта, кроме тяжелых воспоминаний, нанесла и неожиданный удар: узнал я то, о чем не могу не сказать на страницах «Литературной газеты», хотя коротко написал об этом в «Московском литераторе», да и буду писать еще непременно. Дело в том, что в нескольких километрах выше Ржева строится гидроузел и образуется Ржевское море, водами его будут навсегда покрыты сотни братских могил и десятки деревьев, за которые велись страшные, кровопролитные бои в 1941—1942 годах. И уж не приехать ветеранам и родственникам погибших на братские могилы, не поклониться праху товарищей и родных. Будет «море забвения», как написал читатель Ю. Соловьев в письме своем Елене Ржевской. Совершается кощунственное, богопротивное, как в старину говорили, дело, и наш общий гражданский долг постараться сделать так, чтоб оно было остановлено. Надеюсь, что поддержат меня ветераны, участники боев за Ржев, да и весь наш народ, потому что никак это несовместимо с нашими выстраданными словами «Никто не забыт и ничто не забыто».